



КУРТ

ВОННЕГУТ

СИНЯЯ БОРОДА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Курт Воннегут

Синяя борода

«Издательство АСТ»

1987

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Воннегут К.

Синяя борода / К. Воннегут — «Издательство АСТ»,
1987 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-113086-2

Один из самых причудливых и загадочных романов Курта Воннегута, в котором он обыгрывает не только «мифологию искусства» XX века, но и архетипы «военной прозы» и мотивы древнегреческой мифологии. Автобиография вымышленного художника Рабо Карабекяна, карьера которого потерпела крах из-за некачественной краски, и история таинственной Цирцеи Берман, пытающейся изменить не только его жизнь, но и взгляды на искусство и свое место в нем, служат лишь обрамлением для притчи, по-новому трактующей известный сюжет творца, его Музы и поисков Вдохновения. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-113086-2

© Воннегут К., 1987
© Издательство АСТ, 1987

Содержание

От автора	6
1	7
2	11
3	17
4	20
5	25
6	28
7	32
8	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Курт Воннегут Синяя борода

Kurt Vonnegut
BLUEBEARD

Печатается с разрешения издательства Dial Press, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC и литературного агентства Nova Litera SIA.

Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD. **Copyright © 1987 by Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 2004 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved**

© Kurt Vonnegut, 1987

© Перевод. Л. Дубинская, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Автобиография Рабо Карабекяна (1916–1988)

Посвящаю свою книгу Цирице Берман.

Что тут еще пояснить?

Р.К.

От автора

Это роман, но это и трюк, вымышленная автобиография. Не надо воспринимать книгу как серьезную историю абстрактного экспрессионизма, первого значительного направления живописи, зародившегося в Соединенных Штатах Америки. Это история того, как я воспринимаю разные вещи. Не более того.

Рабо Карабекяна никогда не существовало, равно как Терри Китчена, Цирцеи Берман, Пола Шлезингера, Дэна Грегори, Эдит Тафт, Мерили Кемп и всех остальных персонажей этой книги. Что касается реально существовавших, притом знаменитых людей, которые мною упомянуты, то я не заставил их делать ничего такого, чего они не сделали бы, попав в подобные обстоятельства.

Позвольте заметить, что многое в книге – реакция на непомерные цены, которые в уходящем столетии платили за произведения искусства. Фантастическая концентрация банкнот дала возможность некоторым людям и организациям материально стимулировать кое-какие человеческие шалости с неуместной и потому огорчительной серьезностью. Я имею в виду не только детскую мазню, выдаваемую за искусство, но и прочие ребяческие забавы – когда взрослые, как дети, носятся, прыгают или мяч гоняют.

Или пляшут.

Или распевают песни.

Мы для того и существуем, чтобы помочь друг другу справиться со всем этим, как это ни назови.

Доктор Марк Воннегут (из письма автору, 1985 г.)

1

Поставив точку в своем жизнеописании, я считал благоразумным бегло пройтись по написанному обратным ходом, и, вернувшись к началу, к моей, так сказать, входной двери, приношу извинения прибывающим гостям: «Я обещал вам автобиографию, но кое-что пошло не так, пока я ее стряпал. В результате биография оказалась еще и дневником минувшего беспокойного лета! Но если понадобится, можно в любой момент послать за пиццей. Входите же, входите».

Я – бывший американский художник Рабо Карабекян, человек с одним глазом. Я родился в Сан-Игнасио, штат Калифорния, в 1916 году в семье эмигрантов. За эту автобиографию я принимаюсь спустя семьдесят один год. Для непосвященных в древние тайны арифметики: сейчас, стало быть, 1987 год.

Я не родился циклопом. Левого глаза я лишился незадолго до конца Второй мировой войны в Люксембурге, командуя взводом саперов, которые – вот любопытно! – в гражданской жизни были художниками разных направлений. Вообще-то мы занимались маскировкой, но в то время пришлось сражаться за свою жизнь как самой обычной пехоте. Взвод сформировали сплошь из художников, поскольку кому-то из армейских пришлось в голову, что по части маскировки художники – то что надо.

И правильно: мы были то что надо! То что надо! Как мы дурили немцев нашими мистификациями. Они и понять не могли, что для них представляет опасность в нашем расположении, а что нет. Да к тому же нам и жить позволялось как художникам, чихать мы хотели на форму да на всякие эти военные ритуалы. Нас никогда не включали в обычное войсковое соединение, такое, как дивизия или там даже корпус. Приказы нам отдавал непосредственно Главный штаб Объединенных экспедиционных сил, который приписывал нас то одному генералу, то другому, а они уже были наслышаны о том, как мы противника сбиваем с толку. Генерал этот ненадолго становился нашим патроном, снисходительно держался, почти всегда восторгаясь нами, и в конце концов испытывал признательность.

И мы были нарасхват.

Поскольку в армию я записался и стал лейтенантом за два года до вступления Соединенных Штатов в войну, то к концу ее должен был бы получить звание подполковника, не меньше. Но, дослужившись до капитана, я сам отказался от повышений – не хотел расставаться со своей славной семьей из тридцати шести человек. Это был первый мой опыт с такой большой семьей. Второй возник после войны, когда я сблизился с теми американскими художниками, которые теперь вошли в историю искусства как основатели абстрактного экспрессионизма. И не только сблизился, но и ни в чем им не уступал.

* * *

У матери моей и отца там, в Старом Свете, семьи были побольше, чем эти, и уж конечно, у них в семьях все друг с другом в кровном родстве состояли. Родственников они потеряли во время резни, когда Турецкая империя уничтожила около миллиона своих армянских подданных, которых объявила предателями по двум причинам: во-первых, они были умные и грамотные, а во-вторых, у многих имелись родичи по ту сторону границы с врагом, с Русской империей.

Тогда была эпоха империй. Да и сейчас тоже, если разобраться.

Германская империя, союзник турецкой, послала беспристрастных военных наблюдателей оценить, сколько народу погибло в первый на столетие геноцид – слово, которого тогда еще не существовало ни на одном языке. Теперь всем известно, что такое геноцид, это тщательно продуманная операция с целью уничтожения каждого представителя определенного подсемейства рода человеческого, будь то мужчина, женщина или ребенок.

Столь грандиозные планы требуют решения чисто технических задач: как дешево и быстро убить такую массу крупных, хорошо соображающих животных, да чтобы никто не удрал, а потом еще ликвидировать горы мяса и костей. Турки, поскольку были в этом деле пионерами, не имели навыков для действительно большого бизнеса и не располагали необходимыми техническими средствами. Зато не пройдет и четверти века, как немцы великолепно продемонстрируют и то и другое. А турки просто хватали подряд всех армян, какие попадутся, когда обшаривали дома или прочие места, где армяне работали, отдыхали, играли, молились, учились и так далее, а затем выгоняли их в чистое поле, оставив без еды, питья и крова, и избивали до смерти или палили, пока никого в живых не останется. А уж ликвидировали беспорядок, довершая дело, собаки, коршуны, грызуны разные и совсем под конец – черви.

Мать, которая тогда еще не была моей матерью, только прикинулась мертвой среди трупов.

Отец, который тогда еще не был ее мужем, школьный учитель, спрятался в уборной за школой и так вот среди дерьма и пересидел, пока солдаты не ушли. Уроки уже кончились, и мой будущий отец, как он мне рассказывал, сидел в школе один, сочинял стихи. Услышав, что идут солдаты, он сразу понял зачем. Отец так и не увидел, как убивали. Мертвая тишина в деревне, единственным обитателем которой он, с ног до головы перемазанный дерьмом, остался с наступлением ночи, была для него самым жутким воспоминанием о резне.

Хотя воспоминания матери о событиях в Старом Свете были еще ужаснее, ведь она побывала прямо там, где людей забивали как скот, приехав в Америку, она сумела каким-то образом о резне больше не думать, ей очень тут у нас понравилось, и у нее пробудились мечты о счастливой семейной жизни.

А вот у отца – нет.

Я вдовец. Моя жена, вторая моя жена, урожденная Эдит Тафт, умерла два года назад. Она оставила мне в Ист-Хемптоне на Лонг-Айленде, прямо у океана, этот дом из девятнадцати комнат, которым владели три поколения ее семьи из Цинциннати, штат Огайо, они по происхождению из англосаксов. Вот уж не думали ее предки, что дом достанется человеку с таким экзотическим именем.

Рабо Карабекян.

Может, их призраки здесь и появляются, но ведут они себя – епископальное воспитание – до того деликатно, что до сих пор никому еще не попались на глаза. Но если бы мне случилось столкнуться с одним из них на парадной лестнице и он или она указали бы мне, что я не имею права на этот дом, я ответил бы: «Вините статую Свободы».

Покойная Эдит и я прожили душа в душу двадцать лет. Она была внучатой племянницей Уильяма Говарда Тафта, двадцать седьмого президента Соединенных Штатов и десятого главного судьи Верховного суда. Она была вдовой спортсмена и директора коммерческого банка из Цинциннати Ричарда Фербенкса-младшего, потомка Чарльза Уоррена Фербенкса, сенатора Соединенных Штатов от Индианы, а затем вице-президента при Теодоре Рузвельте.

Мы познакомились задолго до смерти ее мужа, когда я уговорил ее (и его тоже, хотя это было ее имущество) сдать мне под студию пустовавший амбар для картофеля. Они, конечно, не были фермерами и отродясь картофелем не занимались. Просто купили у соседа-фермера

участок подальше от берега, примыкавший к их владениям с севера, – не хотели, чтобы на нем что-то выращивали. Вот как появился картофельный амбар.

Сблизились мы с Эдит только после смерти ее мужа, а к тому времени моя первая жена Дороти с двумя нашими сыновьями Терри и Анри ушла от меня. Я продал наш дом в поселке Спрингс, шесть миль к северу отсюда, и амбар стал не только моей студией, но и домом.

Это странное обиталище, кстати, не видно из самого особняка, где я сейчас пишу.

У Эдит не было детей от первого брака, и было уже поздно их иметь, когда по моей милости из миссис Ричард Фербенкс-младшей она превратилась в жуть какая! – миссис Рабо Карабекян.

Вот и получилась крохотная семья, занимающая громадный дом с двумя теннисными кортами, плавательным бассейном, да еще каретный сарай, да картофельный амбар, да триста ярдов собственного пляжа на Атлантическом побережье.

Казалось бы, мои сыновья Терри и Анри Карабекян, которых я назвал одного в честь моего лучшего друга, покойного Терри Китчена, а другого – в честь художника, которому мы с Терри больше всего завидовали, Анри Матисса, могли приезжать сюда со своими семьями. У Терри уже два сына. У Анри дочь.

Но они со мной не разговаривают.

– Ну и пусть! Ну и пусть! – Глас вопиющего в лакированной пустыне.

– Наплевать!

Нервы не выдержали, простите.

Природа наделила Эдит благословенным даром материнства, хлопотуньей она была неумной. Не считая слуг, жило нас в доме всего-то двое, но вот сумела она наполнить этот громоздкий викторианский ковчег любовью, и радостью, и уютом, своими руками созданным. Хотя всю жизнь она была уж никак не из бедных, а ведь возилась на кухне вместе с кухаркой, в саду с садовником, сама всю провизию закупала, кормила птичек, животных, которых мы держали, да еще диким кроликам, белочкам и енотам от нее перепало.

А еще у нас часто устраивались вечеринки, и приезжали гости, которые жили неделями, – в основном ее друзья и родственники. Я уже говорил, как обстояли и обстоят дела с моими немногочисленными кровными родственниками, моими потомками, которые порвали со мной. А что до искусственных, которые в армии появились, так многие из них погибли в том небольшом сражении, когда я сам лишился глаза и попал в плен. Тех, кто уцелел, я с тех пор не видел и про них ничего не слышал. Может, не так они меня и любили, как я их полюбил.

Такое бывает.

Из моей второй искусственной семьи абстрактных экспрессионистов теперь уж мало кто в живых остался: кого старость прикончила, кто сам себя – причины разные. Немногие оставшиеся, как и мои кровные родственники, больше со мной не разговаривают.

– Ну и пусть! Ну и пусть! – Глас вопиющего в лакированной пустыне.

– Наплевать!

Нервы не выдержали, простите.

Вскоре после смерти Эдит все наши слуги уволились. Объяснили, что здесь стало очень уж мрачно. И я нанял других и плачу им кучу денег за то, что они терпят меня и всю эту мрачность. Пока была жива Эдит, жив был и дом, и садовник тут жил, и две горничные, и кухарка. А теперь живет только кухарка, причем, как я уже говорил, другая, и занимает вдвоем с пятнадцатилетней дочерью весь четвертый этаж крыла, отведенного для прислуги. Она в разводе, родом из Ист-Хемптона, на вид лет около сорока. Ее дочь Селеста на меня не работает, просто

живет в моем доме, ест мою еду и развлекает своих шумных и жутко невоспитанных друзей на моих теннисных кортах, в моем плавательном бассейне и на принадлежащем мне пляже.

Меня она и ее приятели не замечают, словно я какой-то дряхлый ветеран давно забытой войны, давно в маразме, и доживаю ту малость, что мне осталось, на правах музейного сторожа. Ну, и нечего обижаться. Этот особняк не только мой дом, здесь хранится самая значительная частная коллекция живописи абстрактного экспрессионизма. А поскольку я уж десятки лет ничего полезного не делаю, кто я в самом деле, если не служитель в музее? И, как положено служителям, жалованье за это получающим, приходится мне в меру своего понимания отвечать на вопрос, который, по-разному формулируя, непременно задают все посетители: «Что этими картинами выразить-то хотели?»

Эти картины, которые абсолютно ни о чем, просто картины, и все, принадлежали мне задолго до женитьбы на Эдит. И стоят они по крайней мере не меньше, чем вся недвижимость плюс акции и облигации, включая четвертую часть доходов профессиональной футбольной команды «Цинциннати Бенгалс», – чем все, что мне оставила Эдит. Так что не думайте, будто я эдакий американский охотник за состоянием.

Художником я, наверно, был паршивым, зато каким я оказался коллекционером!

2

И в самом деле, очень здесь стало одиноко после смерти Эдит. Все наши друзья были ее друзьями, не моими. Художники чурались меня, так как мои картины вызывали только насмешки, которых заслуживали, и обыватели, поглядев на них, принимались рассуждать, что художники, мол, по большей части дураки или шарлатаны. Ладно, я привык к одиночеству, что поделаешь.

Мирился с ним, когда был мальчишкой. Мирился и в годы Великой депрессии, когда жил в Нью-Йорке. Когда в 1956 году первая жена с двумя сыновьями покинули меня, тогда я уже поставил крест на своих занятиях живописью, я и сам стал искать одиночества, а его обрести не трудно. Восемь лет жил я отшельником.

Ничего себе работенка с утра до вечера для старика-инвалида, а?

Но друг у меня все-таки есть, и это мой друг, только мой. Писатель Пол Шлезингер, такой же старикан, и тоже покалеченный на Второй мировой. Ночует он совсем один в доме по соседству с моим прежним домом в Спрингсе. Говорю – ночует, потому что с утра он почти каждый день у меня. Наверно, он и сейчас где-то здесь, наблюдает за игрой в теннис или, сидя на берегу, глядит на море, а то, может, играет с кухаркой в карты или, спрятавшись от всех, книжку читает вон там, за картофельным амбаром, куда никто и не забредет.

По-моему, он ничего уже не пишет. И я – говорил уже – совсем бросил заниматься живописью. Хоть бы что-нибудь набросал в блокноте, лежащем внизу у телефона, и то нет. Правда, несколько недель назад поймал я себя как раз за этим занятием, так – вы что думаете? – нарочно карандаш сломал, разломил его надвое, точно вырвал жало у ядовитого змееныша, который собрался меня куснуть, и швырнул обломки в мусорную корзину.

У Пола нет денег. Четыре-пять раз в неделю он ужинает у меня, а днем перехватит что-нибудь, заглянув в мой холодильник, из бутылки с соком потянет, в общем, основной его кормилец – я. Много раз за ужином я говорил ему:

– Ты бы продал свой дом, Пол, денежки бы завелись на карманные расходы, и переезжай сюда, а? Здесь же уйма места! Я уже не женюсь и подруги не заведу, да и ты вряд ли. Бог ты мой! Кому мы нужны? Парочка выпотрошенных игуан! Переезжай! Я не буду тебе мешать, и ты мне тоже. Что может быть разумнее?

А он в ответ всегда одно и то же: «Я могу писать только дома».

Хорош дом – ни души, а в холодильнике шаром покати!

А о моем доме он как-то сказал:

– Разве можно писать в музее?

Сейчас вот я и выясняю, можно или нет? Я как раз в этом музее пишу.

Да, правда пишу. Я, старый Рабо Карабекян, потерпевший фиаско в изобразительном искусстве, теперь пробую силы в литературе. Но, как истинное дитя Великой депрессии, я не рискую, крепко держусь за свое место служителя музея.

Что же вдохновило меня, в мои-то годы, переменить ремесло, да так круто? *Cherchez la femme!*

Без приглашения – никак не вспомню, чтобы я ее приглашал, – у меня поселилась энергичная, уверенная в себе, чувственная и весьма еще молодая особа!

Говорит, что видеть не в состоянии, как я целыми днями болтаюсь без дела, надо обязательно заниматься хоть чем-нибудь. Чем угодно. Если ничего лучше в голову не приходит, почему бы мне не написать автобиографию?

А правда, почему бы и нет?

Эта женщина такая властная!

Ловлю себя на том, что делаю все, как она считает нужным. Покойная Эдит за двадцать лет супружества так ни разу и не подумала, чем бы занять меня. В армии я встречал полковников и генералов, похожих на эту женщину, так внезапно вошедшую в мою жизнь, но они ведь были мужчины, и притом на войне.

Кто мне эта женщина? Друг? А черт ее разберет! Знаю только, что никуда она отсюда не денется, пока ей самой не захочется, а у меня прямо поджилки со страху трясутся, как ее увижу.

Помогите!

Ее зовут Цирцея Берман.

* * *

Она вдова. Ее муж был нейрохирургом в Балтиморе, и там у нее есть собственный дом, такой же огромный и пустой, как мой. Эйб, муж ее, умер полгода назад от инсульта. Ей сорок три года, и она облюбовала мой дом, чтобы спокойно поработать – она пишет биографию мужа.

В наших отношениях нет ничего эротического. Я на двадцать восемь лет старше миссис Берман и стал такой урод, что меня разве собака полюбит. Я и правда похож на выпотрошенную игуану, да еще и одноглазую притом. Что есть, то есть.

Познакомились мы так: как-то в полдень миссис Берман забрела на мой пляж, не подозревая, что он частный. Обо мне она никогда не слышала, потому что терпеть не может современную живопись. В Хемптоне она не знала ни души и остановилась в местной гостинице «Мейдстоун», это милях в полутора отсюда. Прогуливалась по берегу и вторглась в мои владения.

В полдень я, как обычно, спустился на пляж окунуться, а там на песке – она, одетая с ног до головы. Сидит, уставившись на море, ну точь-в-точь, как Пол Шлезингер, он так часами просиживает. Ну и ладно, только вот при моем нелепом телосложении я предпочитаю купаться один, без посторонних, главное же, спускаясь на пляж, я снял с глаза повязку. А под ней – месиво, прямо яичница-болтунья. Лучше не смотреть. Я был в замешательстве. Пол Шлезингер, между прочим, говорит, что чаще всего состояние человека можно передать всего-навсего одним словом: замешательство.

В общем, я решил не купаться, а так, позагорать на некотором расстоянии от нее.

Но все-таки приблизился ровно настолько, чтобы сказать: «Здрасьте».

А она ни с того ни с сего:

– Расскажите, как ваши родители умерли.

Ничего себе! У меня по спине мурашки побежали! Не женщина, а колдунья какая-то! Не будь она колдунья, разве удалось бы ей меня уговорить за автобиографию взяться?

Вот сейчас заглянула ко мне в комнату и напомнила, что мне пора отправляться в Нью-Йорк, куда я не ездил с тех пор, как умерла Эдит. Вообще не помню, чтобы я с тех пор куда-нибудь ездил.

– Привет, Нью-Йорк, вот и я. Жуть какая!

– Расскажите, как ваши родители умерли, – говорит.

Я ушам своим не поверил.

– Простите? – говорю.

– Что толку-то в этом вашем «здрасьте»? – заявила она.

Сразу заставила меня переменить тон.

– Лучше, чем ничего, мне так всегда казалось, – объясняю, – но, может, я и не прав.

– Что это значит – «здрасьте»? – спрашивает.

– Ну, я приветствую вас, здравствуйте, как еще сказать?

– Ничего подобного, – отвечает. – Это значит: не заговаривайте ни о чем серьезном. Это значит: я вам улыбаюсь, но дела мне до вас нет, так что проваливайтесь.

И еще, и еще, надоело, мол, ей, когда пустыми словами отделяются, вместо того чтобы по-настоящему познакомиться.

– Так что присаживайтесь и расскажите мамочке, как умерли ваши родители.

Мамочке! Вот это да – «мамочке»!

У нее прямые черные волосы и большие карие глаза, как у моей покойной матери, но ростом она гораздо выше. Честно говоря, даже немножко выше, чем я. И фигура гораздо стройнее, чем у мамы, которая с годами изрядно растолстела и не очень-то следила, как выглядит, как одевается. Не следила, потому что отцу было все равно.

И я рассказал миссис Берман о матери:

– Она умерла, когда мне было двенадцать лет, – от столбняка, который, очевидно, подхватила, работая на консервной фабрике в Калифорнии. Консервную фабрику построили на месте бывшей конюшни, а в кишечнике лошадей – им-то это безвредно – часто поселяются бактерии столбняка и образуют долгоживущие споры, такие крохотные бронированные семена, которые в экскрементах видны. Одна из спор, затаившаяся в грязи под конюшней, была каким-то образом эксгумирована и отправилась путешествовать. Спала себе, спала и пробудилась в раю – все мы о таком мечтаем. А раем для нее был порез на руке моей матери.

– Прощай, мамочка, – сказала Цирцея Берман.

Опять «мамочка»!

– Ладно, зато ей не пришлось пережить Великую депрессию, которая началась год спустя, – сказал я.

И зато она не видела, что ее единственный сын вернулся с войны одноглазым циклопом.

– А как умер отец? – спросила миссис Берман.

– В кинотеатре «Бижу» в Сан-Игнасио, 1938 год, – сказал я. – Он ходил в кино один. О новой женитьбе и не думал даже. Так и жил себе в Калифорнии над лавчонкой, с которой когда-то начал внедряться в экономику Соединенных Штатов. А я уже лет пять как жил на Манхеттене, работал художником в рекламном агентстве. Фильм кончился, зажегся свет, и все ушли домой. Все, кроме отца.

– А какой был фильм? – спросила она. И я ответил:

– «Отважные капитаны» со Спенсером Треси и Фредди Бартоломью в главных ролях.

Бог знает, что отец мог извлечь из этого фильма о рыбаках, ловивших треску в Северной Атлантике. Может, он и увидать-то ничего не успел, умер сразу. А если посмотрел хоть немножко, то получил, наверно, горькое удовлетворение от того, что происходившее на экране не имело решительно никакого отношения ни к чему и ни к кому из его жизни. Ему нравились любые свидетельства того, что планета, которую он знал и любил в юности, исчезла безвозвратно.

Так он чтит память родных и друзей, погибших во время резни.

Он, можно сказать, стал сам себе турком здесь, в Америке, в грязь себя втоптал и плевал себе в лицо. Мог ведь выучить английский и сделаться уважаемым учителем в Сан-Игнасио, или снова за стихи бы принялся, или, допустим, переводил бы своих любимых армянских поэтов на английский. Но такое – не унижительно, а ему надо было унижить себя. Надо ему было – с его-то образованием – стать тем же, чем его отец и дед были, сапожником то есть.

Он был очень искусен в этом ремесле, которому выучился мальчишкой и которому мальчишкой выучил и меня. Но как же он сетовал на судьбу! Хорошо хоть, что причитал по-армянски и, кроме нас с матерью, никто его не понимал. Мы были единственными армянами миль на сто вокруг в Сан-Игнасио.

– Я обращаюсь к Уильяму Шекспиру, величайшему вашему поэту, – приговаривал он, работая, – вы-то когда-нибудь слышали о нем? – Сам он знал Шекспира в переводе на армянский вдоль и поперек и часто читал его наизусть. «Быть или не быть...», например, у него звучало: «Линел кам шлинел...»

– Вырвите мне язык, если услышите, что я говорю по-армянски. – Мог и такое сказануть. В семнадцатом веке турки наказание такое придумали каждому, кто говорил не по-турецки, – язык вырывали.

– Что за люди кругом, сам я что здесь делаю? – недоумевал он, глядя на проходящих мимо ковбоев, китайцев и индейцев.

– Пора бы уже в Сан-Игнасио воздвигнуть памятник Месропу Маштоцу! – иронизировал он. Месроп Маштоц, живший примерно за четыреста лет до рождения Христа, создал армянский алфавит, совершенно не похожий на другие алфавиты. Армяне, кстати, были первым народом, который сделал христианство своей государственной религией.

– Миллион, миллион, миллион, – повторял он. Считается, что турки миллион армян убили в ту резню, когда моим родителям удалось спастись. То есть две трети армян, живших в Турции, и около половины армян во всем мире. Сейчас нас около шести миллионов, включая двух моих сыновей и трех внуков, которые о Месропе Маштоце ничего не знают и знать не хотят.

– Муса Дах! – восклицал он. Так называлось местечко в Турции, где горстка армян – мирных жителей сорок дней и ночей противостояла турецким солдатам, пока не была истреблена полностью, – примерно в то время, когда мои родители – со мной в мамином животе – целые и невредимые добрались до Сан-Игнасио.

* * *

– Спасибо, Вартан Мамигонян, – любил он повторять. Так звали армянского национального героя, возглавившего войско армян в проигранной войне с персами в пятом веке. Но тот Вартан Мамигонян, которого имел в виду отец, был обувным фабрикантом в Каире, шумной многоязычной столице Египта, куда, спасаясь от резни, бежали мои родители. Этот человек, сам еле уцелевший в какой-то резне, уверил моих наивных родителей, которых случайно встретил на пути в Каир, что они увидят улицы, мощенные золотом, если только доберутся – куда бы вы думали? – в Сан-Игнасио, штат Калифорния. Но об этом я потом расскажу.

– Может, и раскусишь, что такое жизнь, только уже слишком поздно, – говорил он. – Мне теперь все равно.

– Не теряйте надежды, друзья, за бедою приходит удача, – напевал он. Это, сами знаете, из американской песни «Дом на ранчо», он слова перевел на армянский. Считал их дурачками.

– И Толстой тачал сапоги, – любил он повторять. И правда: величайший русский писатель и идеалист, стараясь заняться каким-то, как ему казалось, стоящим делом, одно время тачал сапоги. Позволю себе заметить, что я тоже могу тачать сапоги. Если понадобится.

Цирцея Берман говорит, что может брюки сшить, если понадобится. Когда мы познакомились на берегу, она рассказала, что у отца ее была брючная фабрика в Лакаванне, штат Нью-Йорк, но потом он разорился и повесился.

Если бы мой отец не умер на «Отважных капитанах» со Спенсером Треси и Фредди Бартоломью в главных ролях и увидел написанные мною после войны картины, из которых кое-какие привлекли серьезное внимание критиков и были проданы за недурные по тем временам деньги, он бы уж точно, как большинство американцев, презрительно фыркнул и глумился над ними. Высмеивал бы, разумеется, не меня одного. Высмеивал бы и моих собратьев по кисти,

абстрактных экспрессионистов Джексона Поллока, Марка Ротко¹, Терри Китчена и других, которые, не в пример мне, теперь признаны величайшими художниками не только Америки, но и всего этого мира, черт бы его подрал. Но мне-то одно вонзается в голову, как шип, хоть много лет я об этом и не задумывался: он бы не колеблясь глумился над собственным сыном, надо мной, значит.

Вот так, благодаря беседе, в которую миссис Берман втянула меня всего две недели назад, я впал в нелепую юношескую обиду на отца, умершего чуть ли не пятьдесят лет назад. Позвольте прыгнуть с этой проклятой машины времени!

Но попробуй-ка прыгни с нее, с проклятой машины времени! Никак уж этого не хотел бы, а, пожалуйста, все время возвращаюсь к мысли, что отец хохотал бы, как все прочие хохотали, когда мои картины из-за непредсказуемых химических реакций между грунтовкой холстов и акриловыми красками, которыми я их писал – да еще и полосы пожирнее из тюбика выдавливал, – возьми и погибни.

Только вообразите: люди, заплатившие за картину пятнадцать, двадцать, даже тридцать тысяч долларов, вдруг видят совершенно чистый – хоть заново на нем пиши – холст да цветные разводы и что-то вроде пересохшего рисового пудинга на полу.

Я стал жертвой послевоенного чуда. Моим молодым читателям, если таковые найдутся, надо объяснить, что Вторая мировая война сильно напоминала сбывшееся пророчество об Армагеддоне, то есть решительной схватке добра со злом, так нечего и удивляться, если за нею начались чудеса. Растворимый кофе – вот вам чудо, пожалуйста. И еще ДДТ. Придумали ДДТ насекомых изводить, почти всех и извели. Ядерная энергия, предполагалось, так удешевит электричество, что и счетчики ни к чему станут. Кроме того, предполагалось даже, что ядерная энергия сделает еще одну войну просто невыносимой. Рассуждайте теперь о хлебах да рыбах, которыми Христос четыре тысячи человек насытил! Антибиотики со всеми болезнями покончат. Лазарь и не умер бы никогда – недурно, а? Выходит, Сын Божий вообще ни к чему.

Да, и всякая удивительная еда появилась, а вскоре у каждой семьи, наверно, будет свой вертолет. Новые удивительные ткани выдумали – стирай в холодной воде, а гладить совсем не надо! Стоило повоевать ради такого-то, точно говорю!

Во время войны придумали словечко, чтобы обозначить полный беспредел, людьми устроенный, – запонез, сокращенное «затрахано до полной неузнаваемости». Ну ладно, теперь вся планета запонез этими послевоенными чудесами, а вот тогда, в начале шестидесятых, я одним из первых пал жертвой такого чуда – акриловой краски, стойкость которой, согласно рекламе того времени, «переживет улыбку Моны Лизы».

Название краски было «Сатин-Дура-Люкс». Мона Лиза все еще улыбается, а спросите насчет «Сатин-Дура-Люкс» местного торговца красками, и если он в своем деле не новичок, то рассмеется вам в лицо.

– У вашего отца был синдром уцелевшего, – сказала Цирцея Берман тогда на пляже. – Его совесть мучила за то, что выжил, когда все его друзья и родственники погибли.

– Его даже то мучило, что я не погиб.

– Считайте, что чувства были благородные, только не в то русло пошли, – говорит.

– Очень он меня огорчал, и вообще, зря мы о нем заговорили.

– Раз уж мы заговорили, почему бы теперь не простить его?

– Я уже сотни раз прощал. Теперь буду умнее, пусть расписку дадут. – И говорю: у мамы было гораздо больше оснований этот синдром иметь, ведь она оказалась прямо в мясорубке,

¹ Джексон Поллок (1912–1956) – американский художник, в 40-е годы глава «абстрактного экспрессионизма»; Марк Ротко (1923–1970) – американский художник-абстракционист.

лежала, притворившись мертвой, под трупами, кровь везде, стоны. А была она тогда ненамного старше кухаркиной дочери Селесты.

Прямо перед собой, всего в нескольких дюймах, она видела лицо мертвой старухи без единого зуба. Рот у старухи был открыт, и из него на землю вывалилось целое состояние – неоправленные драгоценные камни.

– Если бы не эти драгоценности, – сказал я миссис Берман, – не был бы я гражданином нашей великой страны и, значит, никак бы вас упрекнуть не мог за то, что вы вторглись в мои частные владения. Это мой дом там, по ту сторону дюн. Надеюсь, вы ничего такого не подумаете, если безобидный старый вдовец, которому тоскливо, угостит вас в этом доме рюмочкой – вы пьете? – и попросит отужинать в компании его столь же безобидного друга? – Я имел в виду Пола Шлезингера.

Она приняла приглашение. А после ужина я вдруг услышал, что говорю:

– Если вы предпочли бы остановиться здесь, а не в гостинице, милости просим. – И дал ей то же обещание, которое много раз давал Шлезингеру: – Обещаю не беспокоить вас.

Так что будем честными. Несколько раньше я сказал, что понятия не имею, как вышло, что она поселилась в моем доме. Будем честными. Я ее пригласил, так-то.

3

Она перевернула весь дом, и меня заодно, вверх дном!

Я мог бы догадаться, как лихо она управляется с людьми с первых же слов, которые она произнесла: «Расскажите, как умерли ваши родители». Я хочу сказать – это были слова женщины, которая привыкла вертеть людьми, как она считает нужным, как будто они механические болты, а она раздвижной гаечный ключ.

И если я не внял предупреждающим сигналам на пляже, их было более чем достаточно за ужином. Она вела себя как завсегдатай в шикарном ресторане, сморщилась, пробуя вино, которое сам я пригубил и нашел недурным, заявила, что телятина пережарена, и даже велела отослать свой кусок обратно на кухню; пока я здесь, говорит, сама едой займусь, мы, дескать, такие бледные, да и движения у нас вялые, ясное дело, наши кровеносные сосуды забиты холестерином.

А высказывалась-то, ужас просто! Усевшись напротив картины Джексона Поллока, за которую анонимный коллекционер из Швейцарии только что предложил два миллиона долларов, сказала:

– У себя в доме я бы этого не повесила!

Тогда я, подмигнув Шлезингеру, довольно колко спросил ее, какая живопись доставляет ей удовольствие. Она ответила, что ищет в живописи вовсе не удовольствия, а поучительности.

– Мне как витамины и минералы нужна информация, а судя по вашим картинам, для вас факты вроде яда, – говорит.

– Вы, наверно, предпочли бы смотреть, как Джордж Вашингтон переправляется через Делавар, – отреагировал я.

– А то нет? – сказала она. – Хотя знаете, какую картину хотела бы я увидеть теперь, после нашего разговора на берегу?

– Какую? – спросил я, приподняв брови и снова подмигнув Шлезингеру.

– Чтобы на ней внизу были земля и трава.

– Коричневое с зеленым? – предположил я.

– Прекрасно, – сказала она. – А вверху небо.

– Голубое, – уточняю.

– Может, и с облаками, – сказала она.

– Легко дорисовать, – сказал я.

– А на земле, под небом...

– Утка? – перебил я. – Или шарманщик с обезьянкой? Или там матрос с барышней на садовой скамейке?

– Не утка, и никакой не шарманщик с обезьянкой, и не матрос с барышней, – сказала она. – На земле масса трупов пораскидано в самых разных позах. Прямо перед нами прелестное лицо девушки лет так шестнадцати-семнадцати. Она придавлена трупом убитого мужчины, но жива и уставилась в открытый рот мертвой старухи, лицо которой совсем рядом, в нескольких дюймах. А из этого беззубого рта вываливаются бриллианты, изумруды и рубины.

Наступила тишина. Потом она говорит:

– На такой картине можно новую религию построить, и притом очень нужную. – И кивнула в сторону Поллока.

– А вот эта картина годится только для рекламы пилюль каких-нибудь от похмелья или, не знаю, от морской болезни.

Шлезингер спросил, что привело ее в Хемптон, ведь она же никого здесь не знает. Надеюсь, говорит, обрести тут покой, от тревог отвлечься, полностью сосредоточиться на биографии мужа, нейрохирурга из Балтимора, которую сейчас пишет.

Шлезингер приосанился: он ведь писатель, одиннадцать романов опубликовал, – и как профессионал принялся опекать дилетантку.

– Каждый считает, что может стать писателем, – сказал он с легкой иронией.

– Попытка – не преступление, – отпарировала она.

– Преступление – думать, что это легко, – гнет он свое. – Но если всерьез подойти, быстро выясняется, что труднее занятия нет.

– Особенно когда вам абсолютно нечего сказать, – возразила она. – Может, оттого-то и считается, что писать так трудно? Если человек умеет составлять предложения да пользоваться словарем, может, вся трудность в том одном, что ничего-то он толком не знает и ничего-то его не волнует?

Тут Шлезингер позаимствовал строчку из Трумена Капоте, писателя, который умер пять лет тому назад, – у него был дом всего в пяти милях к западу отсюда.

– А не спутали ли вы пишущую машинку с пером писателя?

Она мгновенно опознала источник его остроумия:

– Трумен Капоте, – говорит.

Шлезингер элегантно прикрылся.

– Как знает каждый, – сказал он.

– Лицо у вас доброе, а не то бы заподозрила, что вы меня разыгрываете.

Но послушайте-ка, что она рассказала мне сегодня утром за завтраком. Только послушайте, и тогда скажете, кто кого за нос водил за ужином две недели назад: миссис Берман вовсе не дилетантка, которая вздумала писать биографию своего покойного мужа. Она все это просто выдумала, чтобы скрыть, кто она и зачем здесь. Заставив меня поклясться, что никому не скажу, она призналась: на самом деле в Хемптон она приехала собирать материал для романа о подростках из рабочей среды, живущих в курортных местах, куда летом детки мультимиллионеров наезжают.

И это будет не первый ее роман. Это будет двадцать первый роман из серии шокирующе откровенных и чрезвычайно популярных романов для юношества, из которых несколько экранизированы. Она писала их под именем Полли Медисон.

Я, разумеется, буду держать это в секрете хотя бы ради того, чтобы Пол Шлезингер не повесился. Если Пол, все кокетничавший – он, мол, настоящий писатель, профессионал, – обнаружит, кто она такая, то поступит так же, как второй мой близкий друг, Терри Китчен. Руки на себя наложит.

Если с коммерческой стороны подойти, на литературном рынке Цирцея Берман по сравнению с Полом Шлезингером все равно что «Дженерал моторс» по сравнению с велосипедной фабрикой в Албании!

Но об этом – ни гугу!

В тот первый вечер она сказала, что тоже коллекционирует картины.

Я спросил ее какие, и она ответила – викторианские цветные литографии, где нарисованы маленькие девочки на качелях. У нее их больше сотни, говорит, все разные, но непременно с маленькими девочками на качелях.

– Вы считаете – это ужасно? – спросила она.

– Ничуть, – ответил я, – при условии, что вы держите их у себя в Балтиморе и никому не показываете.

В тот первый вечер, помню, она еще расспрашивала Шлезингера и меня, а потом кухарку с дочкой, не знаем ли мы доподлинных историй, когда местные девушки из скромных семейств выходили за отпрысков богачей.

Шлезингер сказал:

– Я думаю, такого вы даже в кино теперь не увидите.

А Селеста ответила:

– Богатые женятся на богатых. Вы где жили-то все это время?

Возвращаясь в прошлое, о котором, вообще говоря, должна бы рассказывать вся эта книга: моя мать подобрала драгоценные камни, вывалившиеся из рта мертвой старухи, но из тех, что остались во рту, не взяла ни единого. Всякий раз, рассказывая эту историю, она обязательно подчеркивала, что ничего не выуживала изо рта. Все, оставшееся там, принадлежало той мертвой старухе.

А когда настала ночь и убийцы разошлись по домам, мать выкарабкалась оттуда. Они с отцом были из разных деревень и познакомились, когда оба перебрались через слабо охраняемую границу с Персией, милях в семидесяти от места бойни.

Персидские армяне приютили их. Потом они решили вместе отправиться в Египет. Разговоры-то почти все отцу приходилось вести, так как у матери рот был набит драгоценными камнями. Когда они добрались до Персидского залива, мать первый раз продала кое-что из этих не отягивавших карманы сокровищ, чтобы взять билеты на маленькое грузовое судно, шедшее через Красное море в Каир. А в Каире они встретили мошенника Вартана Мамигоняна – того самого, который несколькими годами раньше в другой резне уцелел.

– Никогда не доверяй уцелевшим, – часто предостерегал меня отец, памятуя Вартана Мамигоняна, – пока не выяснишь, каким это образом они уцелели.

Этот Мамигонян разбогател на производстве сапог для британской и немецкой армий, которые вскоре начали сражаться друг против друга в Первой мировой войне. Он предложил моим родителям скверно оплачиваемую работу, такую, что хуже не бывает. Они были настолько простодушны, что рассказали ему – ведь он тоже был уцелевший армянин, товарищ по несчастью, – о драгоценностях матери, о своем плане пожениться и уехать в Париж, где была большая, процветающая армянская колония.

Мамигонян стал их самым ревностным советчиком и покровителем, только и думал, как бы найти надежное место для их драгоценностей в городе, где, всем известно, полным-полно бессердечных мошенников. Но они уже положили драгоценности в банк.

Тогда Мамигонян и придумал свой фантастический план, чтобы выманить драгоценности. Сан-Игнасио, штат Калифорния, он, должно быть, нашел в атласе: армян там никогда не водилось, и никакие сведения об этом сонном фермерском городишке никак не могли проникнуть на Ближний Восток. Мамигонян сказал, что у него в Сан-Игнасио живет брат. Письма сфабриковал от этого брата: вот, смотрите. Более того, в письмах говорилось, что брат там за короткое время чрезвычайно разбогател. Там много армян, и все они преуспевают. И нужен им учитель, только чтобы свободно говорил по-армянски и хорошо знал великую армянскую литературу.

Чтобы привлечь такого учителя, они готовы продать ему дом с фруктовым садом в двадцать акров, причем гораздо ниже действительной стоимости. «Богатый братец» Мамигоняна приложил фотографию дома и бумаги на него, за подписями и печатями.

Если есть в Каире на примете хороший учитель, которого это может заинтересовать, писал несуществующий братец, пусть Мамигонян продаст ему бумаги. То есть выходило, что у отца точно будет место учителя и он окажется одним из самых крупных владельцев недвижимости в идилическом Сан-Игнасио.

4

Я уже так давно в этом бизнесе – картины, искусство – что, оглядываясь назад, свое прошлое мысленно вижу словно уходящую вдаль анфиладу галерей, вроде Лувра, что ли, обители Моны Лизы, улыбка которой уже на три десятилетия пережила послевоенное чудо «Сатин-Дура-Люкс». Картины в той галерее моей жизни, которая, должно быть, станет последней, все до одной реальны. Их, если хочется, можно потрогать, сбить тому, кто больше даст на аукционе, как советует вдова Берман, она же Полли Медисон, или, по ее же глубокомысленной рекомендации, убрать к чертовой бабушке.

Дальше, в воображаемых галереях, мои собственные абстрактные полотна, магически воскрешенные Великим Критиком для Судного дня, а за ними картины европейских художников, которые я покупал солдатом во время войны за несколько долларов, плитку шоколада или нейлоновые чулки, и потом мои иллюстрированные рекламы – плод работы в рекламном агентстве до армии, примерно в ту пору, когда дошло до меня известие о смерти отца в кинотеатре «Бижу» в Сан-Игнасио. Ну, а еще раньше – журнальные иллюстрации Дэна Грегори, учеником которого я был с семнадцати лет и пока он меня не вышвырнул вон. Произошло это за месяц до того, как мне стукнуло двадцать. За галереей Дэна Грегори мои даже не окантованные работы, которые писал я мальчишкой, будучи единственным живописцем, когда-либо жившим в Сан-Игнасио, – других там не было и не будет, моложе ли, старше, и какого угодно направления.

Но дальше всего от меня, старой развалины, галерея, дверь в которую я открыл в 1916 году, и там не картины, там одна-единственная фотография. На фотографии величественный белый особняк, перед которым длинная извилистая аллея, ведущая к въездным воротам, – надо думать, тот самый особняк, который, как уверял Варган Мамигонян, купили родители за драгоценности матери, почти целиком на него потраченные.

Фотография вместе с фальшивыми бумагами, испещренными подписями и восковыми печатями, многие годы хранилась в ночном столике родителей, в квартирке над обувной мастерской отца. Я думал, что после смерти матери отец выкинул ее вместе с другими вещами, напоминавшими о прошлом. Но когда в 1933 году в разгар Великой депрессии я уезжал в Нью-Йорк на поиски счастья и уже садился в поезд, отец подарил мне эту фотографию.

– Если случайно натолкнешься на этот дом, сообщи мне, где он, – сказал отец по-армянски. – Где бы этот дом ни был, он мой.

У меня уже нет этой фотографии. Вернувшись из Сан-Игнасио – я там пять лет не был и вот поехал, чтобы с тремя другими нести отцовский гроб, – я разорвал ее в клочья. Я пришел к заключению, что он обездолил самого себя и мать даже ужаснее, чем Варган Мамигонян. Не Мамигонян ведь принудил их остаться в Сан-Игнасио, вместо того чтобы переехать, скажем, во Фресно, где на самом деле была армянская колония, и все в той колонии помогали друг другу, старались сохранить родной язык, обычаи, веру, а в то же время осваивались в Калифорнии все лучше и лучше. И отец мог бы там снова стать уважаемым учителем!

О нет, не из-за этого жулика Мамигоняна оказался он самым одиноким и несчастным сапожником на свете!

За сравнительно короткое время армяне отлично преуспели в этой стране. Мой сосед с западной стороны – вице-президент компании «Метрополитен лайф» Ф. Дональд Касабян, так что даже здесь, в фешенебельном Ист-Хемптоне, причем прямо на берегу, живут рядом целых два армянина. Бывшее поместье Морганов в Саутхемптоне – сейчас собственность Геворка Ованесяна, который был владельцем кинокомпании «Двадцатый век. Фокс», пока не продал ее на прошлой неделе.

И армяне преуспевают здесь не только в бизнесе. Великий писатель Уильям Сароян – армянин, новый президент Чикагского университета доктор Джордж Минтучян тоже. Доктор Минтучян известный шекспировед, и мой отец тоже мог бы стать кем-нибудь в этом роде.

Сейчас в комнату заглянула Цирцея Берман, прочла прямо с листка, заправленного в машинку, десять строк, которые я только что отстукал. И вышла. Снова заметила, что отец явно страдал синдромом уцелевшего.

– Все, кто не умер, – уцелевшие, – возразил я. – Выходит, у всех живых синдром уцелевшего. Или с синдромом живи, или помирай. С души воротит, когда человек гордо заявляет: вот, мол, я уцелел! В девяти случаях из десяти – это людоед или миллиардер!

– Слушайте, пора бы уж простить отцу то, что он был какой был. А вы все не можете, вот и разбушевались.

– Ничего я не разбушевался.

– Так разбушевались, что в Португалии слышно, – говорит. Если выйти в море с моего частного пляжа и идти прямо на восток, причалишь в Португалии, это она по глобусу в библиотеке выяснила. Прямым в Порто.

– Вы завидуете испытаниям, выпавшим на долю отца, – сказала она.

– Мне своих хватало, – ответил я. – Может, вы не заметили, я – одноглазый.

– Сами же говорили, что почти не чувствовали боли и рана быстро зарубцевалась, – сказала она, и это правда. Не помню, как меня ранило, помню только белый немецкий танк и солдат в белом, пересекающих заснеженную поляну в Люксембурге. Меня взяли в плен, когда я был без сознания, и держали на морфии, пока я не очнулся в немецком военном госпитале, размещенном в церкви уже по ту сторону границы, в Германии. Миссис Берман права: боли я испытал на войне не больше, чем штатский в кресле дантиста.

Рана зарубцевалась так быстро, что вскоре меня отправили в лагерь как самого обычного военнопленного.

Тем не менее я настаивал, что, как и отец, имею право на синдром, и она задала мне два вопроса. Вот первый:

– У вас не бывает такого чувства, что почти все добропорядочные люди погибли и вы чуть ли не единственный добропорядочный человек на свете?

– Нет, – ответил я.

– А у вас не бывает чувства, что вы, должно быть, нехороший человек, так как все добропорядочные люди погибли, и, значит, единственный способ восстановить репутацию – смерть.

– Нет.

– Вы, возможно, имеете право на этот синдром, но его у вас нет. Проверьтесь, может, у вас вовсе туберкулез?

– Откуда вы столько знаете об этом синдроме? – спросил я у нее. Вопрос не был бестактным, она ведь при первой же встрече на берегу рассказала, что они с мужем евреи, но понятия не имеют, есть у них родственники в Европе или нет, хотя, возможно, какие-нибудь родственники и погибли в лагерях. Они с мужем из семей, которые уже несколько поколений живут в Америке, связи с Европой давно утеряны.

– Я написала о синдроме роман, – сказала она. – Вернее, не о синдроме, а о таких, как вы, о детях, чьи родители пережили массовое уничтожение. Роман называется «Подполье».

Разумеется, ни этой, ни других книжек Полли Медисон я не читал, хотя, заинтересовавшись, обнаружил, что они продаются повсюду, как жевательная резинка.

Оказывается, даже не надо выходить из дома, если потребовалось «Подполье» или любой другой роман Полли Медисон, сообщила миссис Берман. Все они есть у кухаркиной дочери Селесты.

Миссис Берман – в жизни не встречал более непримиримого противника интимных тайн – выяснила и то, что Селеста, хоть ей всего-то пятнадцать лет, принимает противозачаточные таблетки.

Эта восхитительная миссис Берман пересказала мне сюжет «Подполья»: три девочки – черная, еврейка и японка почувствовали тягу друг к другу, которую сами не могут объяснить, и обособились от одноклассников. Они образовали что-то вроде маленького клуба, который, неизвестно почему, назвали «Подполье».

А потом выясняется, что у всех троих кто-нибудь из родителей, дедушек или бабушек пережил какую-то акцию массового уничтожения и, сам того не желая, передал им ощущение, что добропорядочные люди погибли, а выжили порочные.

Предки черной девочки спаслись при уничтожении племени ибос в Нигерии. Предки японки пережили атомную бомбардировку Нагасаки. Предки еврейки – нацистский холокост.

– «Подполье» – замечательное название для такой книги, – сказал я.

– Да уж точно, – говорит. – Названия мне вообще удаются. – Она вправду не сомневается, что неподражаема, а все остальные – ну дурачье дурачьем.

Она сказала, что художникам надо бы нанимать писателей, чтобы те названия картинам придумывали. Названия картин, висящих здесь: «Опус девять», «Синяя и жжено-оранжевая» и тому подобное. Моя собственная самая известная картина, которой больше нет, когда-то украшала вестибюль главного управления компании ДЭМТ на Парк-авеню и называлась «Виндзорская синяя 17». Виндзорская синяя – один из чистых тонов «Сатин-Дура-Люкс», прямо из банки.

– Эти названия специально такие, чтобы никакого общения с картиной не возникало, – сказал я.

– К чему жить, если не общаться? – возразила она. Мою коллекцию она по-прежнему ни в грош не ставит, хотя за проведенные здесь пять недель видела чрезвычайно респектабельных людей, которые приезжали издалека, даже из Швейцарии и Японии, посмотреть мои картины и благоговели перед ними, словно богам молились. В ее присутствии я прямо со стены продал картину Ротко представителю музея Гетти за полтора миллиона долларов.

Вот что она по этому поводу заметила:

– Сплавил чужую собачью, ну и отлично! Она же абсолютно ничего не выражала, только мозги вам засоряла. И остальной весь мусор пора вон выкинуть!

Мы сейчас беседовали о синдроме отца, и она спросила, хотел ли отец, чтобы турки понесли наказание за то, что с армянами сделали.

Когда мне лет восемь было, я задал отцу тот же вопрос, думал, жить будет интереснее, если все время к мести стремиться.

– Дело было в мастерской, отец отложил инструменты и устался в окно, – рассказываю ей, – я тоже выглянул. И увидел, помнится, нескольких индейцев племени лума. Милях в пяти была их резервация, и приезжие меня, случалось, тоже принимали за лума. Мне это нравилось. Я тогда думал, индейцем уж точно лучше быть, чем армянином.

А отец помолчал и говорит: «Я хочу только, чтобы турки признали, что теперь, когда нас там нет, их страна стала еще уродливее и безрадостнее».

* * *

Сегодня после ленча я, как подобает хозяину, отправился в обход своих владений и случайно встретил соседа, граница с которым проходит футах в двадцати севернее картофельного амбара. Это Джон Карпински. Он местный уроженец. Продолжает выращивать картофель, как выращивал его отец, хотя каждый акр, занятый его картофельным полем, стоит сейчас около восьмидесяти тысяч долларов, потому что здесь можно построить дома, где со второго этажа будет виден океан. Три поколения Карпински выросли и трудились на этой земле, и, как сказал бы армянин, она для них священна, как долина у подножия Арарата.

Карпински – крупный мужчина, ходит почти всегда в комбинезоне, и все зовут его Большим Джоном. Он тоже ветеран войны, как мы с Полом, но он моложе и был на другой войне. Его война – корейская.

А потом его единственный сын, Маленький Джон, был убит миной на вьетнамской войне. Каждому своя война.

Мой картофельный амбар с прилегающими шестью акрами прежде принадлежал отцу Большого Джона, который продал его покойной Эдит и ее первому мужу.

Большой Джон проявил любопытство по поводу миссис Берман. Наши отношения чисто платонические, уверил я его, вторглась она, можно сказать, почти без приглашения, и добавил, что рад был бы ее возвращению в Балтимор.

– Она – вроде медведя, – сказал Большой Джон. – Если медведь забрался в ваш дом, лучше переждать в мотеле, пока он не уберется.

Когда-то на Лонг-Айленде было полно медведей, теперь их, разумеется, нет. Джон говорит, ему о медведях отец рассказывал, которого лет в шестьдесят изрядно потрепал гризли в Йеллоустоунском парке. После этого отец читал о медведях все, что мог раздобыть.

– Следует отдать медведю должное, – сказал Джон, – благодаря ему старик снова пристратился к чтению.

Эта миссис Берман чертовски любопытна! Вообразите – заходит и, даже не считая нужным спросить разрешения, читает прямо с машинки.

– Почему это вы никогда не используете точку с запятой? – заметит ни с того ни с сего. Или, скажем: – Почему это у вас текст все по главам да по главам, пусть бы себе тек свободно. – И все в таком духе.

Когда я прислушиваюсь, как она двигается по дому, до меня доносятся не только ее шаги, но и грохот открываемых и закрываемых ящиков, шкафов, буфетов. Она обошла все углы и закутки, включая подвал. Приходит как-то из подвала и говорит:

– Не забыли, у вас там шестьдесят три галлона «Сатин-Дура-Люкса»? – Не поленилась подсчитать!

На обычную свалку «Сатин-Дура-Люкс» выбросить нельзя – закон запрещает, так как выяснилось, что со временем краска разлагается, превращаясь в смертельно опасный яд. Чтобы от нее избавиться законным образом, надо ехать на специальный участок около Питчфорка, штат Вайоминг, а я никак не соберусь это сделать. Вот она и пылится все эти годы в подвале.

Во всем хозяйстве миссис Берман не исследовала единственное место – картофельный амбар, бывшую мою студию. Это длинное и узкое здание без окон, с раздвижными дверьми и толстопузой печью в каждом углу, построили его специально для хранения картошки. Идея такая: подтапливая и проветривая, фермер при любой погоде может поддерживать внутри ровную температуру и картофель не замерзает и не прорастает, пока не придет время продажи.

Необычные размеры таких строений да совсем небольшая по тем временам плата привлекли к ним во времена моей молодости многих художников, особенно тех, которые работали над очень большими полотнами. Если бы я не арендовал этот картофельный амбар, то не смог бы написать как единое целое восемь панно, составивших «Виндзорскую синюю 17».

Любопытная вдова Берман, она же Полли Медисон, не может ни проникнуть, ни даже заглянуть в студию, потому что окон там нет, а что касается дверей, то два года назад, сразу после смерти жены, я собственноручно с одного конца амбара забил их изнутри шестидюймовыми костылями, а с другого запер снаружи по всей высоте шестью массивными засовами с висячими замками.

Я и сам с тех пор внутри не был. А там кое-что есть. И не какая-нибудь там чушь собачья. Когда я умру и буду похоронен рядом с дорогой моей Эдит, душеприказчики наконец откроют эти двери и обнаружат не только затхлый воздух. Только не думайте, что там какой-то патетический символ, вроде разломанной пополам кисти на голом, чисто выметенном полу, или ордена, полученного мной за ранение.

И никаких убогих шуточек, вроде картины, на которой написан картофель – так сказать, возвращение амбара картофелю, или картины, на которой написана Дева Мария в котелке и с арбузом в руках, и т. д.

И не автопортрет.

И не религиозное откровение.

Вы заинтригованы? Вот подсказка: это больше, чем хлебница, но меньше, чем планета Юпитер.

Даже Пол Шлезингер не догадывается, что спрятано в амбаре, и не раз говорил, что не понимает, как можно оставаться друзьями, если я боюсь доверить ему свой секрет.

В мире искусства амбар приобрел широкую известность. Когда я кончаю экскурсию по домашней галерее, посетители обычно спрашивают, нельзя ли осмотреть и амбар. Я говорю: снаружи можно, если охота, и поясняю, что наружная часть амбара – важная веха в истории живописи. Когда Терри Китчен впервые взял в руки пульверизатор с краской, мишенью ему служил кусок старого картона, который был прислонен как раз к наружной стене амбара.

«А вот что внутри амбара, – говорю экскурсантам, – так это бесценная тайна вздорного старикашки, и мир узнает ее, когда я отправлюсь на большой художественный аукцион к Господу Богу».

5

В одном журнале по искусству написали: им точно известно, что я припрятал в амбаре – там шедевры абстрактных экспрессионистов, которые я не выпускаю на рынок, желая поднять в цене менее значительные работы, выставленные в доме.

Это неправда.

После выхода этой статьи Геворк Ованесян, мой собрат-армянин, живущий в Саутхемптоне, всерьез выразил готовность купить не глядя лежащее в амбаре за три миллиона долларов. – Поймать бы тебя на слове да надуть, – ответил я ему. – Но уж очень это не по-армянски. А если бы я согласился, то это было бы все равно что продать ему Бруклинский мост.

Другой отклик на ту статью меня уже не позабавил. Человек, которого я не помнил, в письме к издателю сообщал, что встречался со мной во время войны. Что ж, очень может быть. Во всяком случае, взвод из художников, которым я командовал, он описал во всех подробностях. Знал, какое нам дали задание, когда союзники выбили немецкую авиацию с неба и отпала необходимость в нашей роскошной маскировке, которой мы немцам голову морочили. Задание нам дали – все равно что детей в лавку Деда Мороза запустить: поручили заниматься оценкой и составлением каталога трофейных произведений искусства.

Человек этот писал, что служил в штабе Верховного главнокомандующего Объединенных сил союзников и я время от времени имел с ним дело. По его мнению, я присвоил кое-какие шедевры, которые должны быть возвращены законным владельцам в Европе. А я, из опасения, что против меня возбудят судебный процесс, запер шедевры в амбар.

Ошибается.

Да, он ошибается насчет запертого в амбаре. Надо сказать, чуточку он не прав и насчет того, что я воспользовался возможностями моей необычной военной службы. Никаких ценностей, которые передавали нам подразделения, захватившие их, я украсть не мог. Я был обязан выдать расписку, а кроме того, нас регулярно контролировали ревизоры из финансовой службы.

Но в наших поездках через пограничные линии мы и правда сталкивались с людьми, которые, находясь в отчаянном положении, продавали произведения искусства. И кое-какие прекрасные вещи мы купили – за бесценок.

Никто из моего взвода не приобрел полотен старых мастеров или произведений, которые явно были из церквей, музеев или выдающихся частных собраний. Я, по крайней мере, думаю, что никто. Не могу поручиться, конечно. В мире искусства, как и всюду, ловкач остается ловкачом, а вор вором.

Но о себе скажу, что я действительно купил у частного лица недописанный набросок углем, который показался мне похожим на Сезанна – потом его подлинность была установлена. Сейчас он находится в постоянной экспозиции род-айлендской школы рисования. А еще я купил любимого своего Матисса у вдовы, которая рассказала, что картина досталась ее мужу в подарок от самого художника. Раз уж на то пошло, мне подсунули фальшивого Гогена, и подделом.

Приобретения свои я отправлял на хранение единственному человеку, которого знал и которому мог доверять во всех Соединенных Штатах Америки, Сэму Ву, владельцу китайской прачечной в Нью-Йорке, – он одно время работал поваром у моего учителя, иллюстратора Дэна Грегори.

Вообразите только – сражаться за страну, где единственный штатский, которого вы знаете, – китаец из прачечной!

И вот однажды меня с моим взводом художников бросили на передовую, сдержатъ, если сумеем, последнее крупное наступление немцев.

Но ни одной из тех картин в амбаре нет, да и вообще я ими больше не владею. Вернувшись с войны, я все их продал, и это дало мне возможность вложить недурненькую сумму в акции фондовой биржи. От юношеской мечты стать художником я отказался. Пошел на курсы бухгалтерского дела, экономики, делового законодательства, маркетинга и т. д. при Нью-Йоркском университете. Я собрался стать бизнесменом.

Вот что я думал о себе и об искусстве: я могу в мельчайших подробностях передать на полотне все, что вижу, если запасусь терпением и хорошими кистями и красками. В конце концов, я же был способным учеником самого дотошного иллюстратора нашего столетия, Дэна Грегори. Но то, что делал он и могу делать я, делает и фотокамера. И я понимал, что та же мысль заставила импрессионистов, кубистов, дадаистов, сюрреалистов и прочих «истов» предпринять щедро вознагражденные усилия с целью создания хороших картин, которых не повтoрят ни камера, ни художники вроде Дэна Грегори.

Я пришел к выводу, что воображение у меня заурядное, то есть никакое, я могу быть только относительно хорошей камерой. Поэтому мне не стоит заниматься серьезным искусством, а лучше выбрать другое, более обычное и доступное поле деятельности: деньги. И я из-за этого не расстроился. Наоборот, вздохнул с облегчением!

Но поболтать об искусстве я все же любил, и хотя не мог писать картин, разбирался в них не хуже других. И вот, слоняясь вечерами по барам около Нью-Йоркского университета, я без труда сошелся с несколькими художниками, которые считали, что почти обо всем судят правильно, но не надеялись, что их поймут и признают. В разговорах я никому из них не уступал. И в выпивке тоже. А главное, в конце вечера я мог оплатить чек благодаря деньгам, заработанным на бирже, небольшому пособию, которое выдавало правительство на время учебы в университете, и пожизненной пенсии от благодарной американской нации за то, что я отдал один глаз, защищая Свободу.

Настоящие художники считали меня бездонным кладезем. Я мог заплатить не только за выпивку, но и за квартиру, сделать первый взнос при покупке машины, рассчитаться за аборт подружки – и жены, впрочем, тоже. В общем, платил за все. Сколько бы денег им ни понадобилось, не важно на что, всегда можно было перехватить у толстосума Рабо Карабекяна.

Так я покупал друзей. На самом деле кладезь мой не был бездонным. К концу месяца они выбирали из него все. Но потом колодец – он же неглубокий – снова заполнялся.

В жизни, как на ярмарке. Мне, конечно, нравилось их общество – прежде всего по той причине, что они относились ко мне так, словно я тоже художник. Я был для них своим. Новая большая семья, заменившая мой исчезнувший взвод.

И они рассчитывались со мной не только дружеским отношением. Они, как могли, покрывали долги своими картинами, которых, заметьте, никто не покупал.

Чуть не забыл: я был тогда женат, и жена была беременна. Дважды была она беременна стараниями несравненного любовника Рабо Карабекяна.

Стучу на машинке, только что вернувшись с прогулки у бассейна, где я спросил Селесту с приятелями, которые вечно толкутся у этого излюбленного подростками спортивного сооружения, слышали ли они про Синюю Бороду. Я собирался упомянуть про Синюю Бороду в своей книге. И хотел выяснить, надо ли объяснять юным читателям, кто такой Синяя Борода.

Никто не знал. Раз уж зашел разговор, я заодно спросил, знакомы ли им имена Джексона Поллока, Марка Ротко, Терри Китчена, а также Трумена Капоте, Нельсона Олгрена, Ирвина Шоу и Джеймса Джойса, которые вошли не только в историю искусства и литературы, но

и в историю Хемптона. Никого они не знают. Это к вопросу о бессмертии через служение музам.

Значит, так: Синяя Борода – персонаж старинной детской сказки, и за ним, возможно, стоит история жившего когда-то человека из знатного рода, жуткого типа. В сказке он все время женится. Женившись в очередной раз, приводит новую молоденькую жену, совсем еще девочку, в свой замок. Говорит, что она может входить во все комнаты, кроме одной, и показывает ей запертую дверь.

Синяя Борода то ли плохой, то ли, скорее, великий психолог – каждая новая жена только о том и думает, что же там такое, в этой комнате. И пытается заглянуть туда, решив, что мужа нет дома, но он тут как тут.

Хватает он ее как раз в тот момент, когда она стоит на пороге и в ужасе разглядывает трупы своих предшественниц, которых он всех до единой, кроме самой первой, убил за то, что они в эту комнату заглядывали. Первую он убил за что-то другое.

Так-то. А из всех, кто знает о запертом картофельном амбаре, тайна его особенно невыносима для Цирцеи Берман. Она все время пристает ко мне, чтобы я сказал, где ключи от амбара, а я все повторяю, что они в золотом ларце, зарытом у подножия Арарата.

Последний раз, когда она о них спросила, пять минут назад, я сказал:

– Послушайте, думайте о чем-нибудь другом, о чем угодно. Для вас я – Синяя Борода, и это моя запрещенная комната, поняли?

6

Вопреки сказанному о Синей Бороде, трупов в моем амбаре нет. Первая из двух моих жен – ею была и остается Дороти – вскоре после нашего развода снова вышла замуж, и надо же – по общему мнению, удачно. Теперь она вдова, дом у нее на побережье в Сарасоте, штат Флорида. Второй ее муж был умелым и энергичным страховым агентом – об этой же профессии подумывали после войны и мы с Дороти. Теперь у Дороти и у меня по собственному пляжу: каждого к своему берегу прибило.

Вторая моя жена, незабвенная Эдит, похоронена недалеко отсюда, на кладбище Грин-Ривер, где, надеюсь, похоронят и меня, ее могила всего в нескольких ярдах от надгробий Джексона Поллока и Терри Китчена.

Если я и убил кого-нибудь на фронте, а это могло произойти, то только за несколько секунд до того, как осколок шального снаряда контузил меня, вырвал глаз и я потерял сознание.

Мальчишкой, еще с двумя глазами, я рисовал лучше всех учеников паршивых государственных школ Сан-Игнасио, хоть и не велика честь. Учителя поражались и говорили родителям, что, может быть, мне стоит выбрать ремесло художника.

Но совет казался родителям совершенно непрактичным, и они просили учителей больше не вдавливать это мне в голову. Художники, считали они, живут в нищете и умирают, не дождавшись признания своих работ. В общем, они, конечно, были правы. Полотна художников, которые практически всю жизнь прожили в крайней бедности, сейчас, когда их нет в живых, самые ценные в моей коллекции.

Если художник хочет по-настоящему взвинтить цены на свои картины, совет ему могу дать только один: пусть руки на себя наложит.

Но в 1927 году, когда мне было одиннадцать и я, между прочим, уже делал успехи в ремесле, обещая, как и отец, стать хорошим сапожником, мама прочла об одном американском художнике, который зарабатывал огромные деньги, как кинозвезды и магнаты, и дружил с самыми знаменитыми кинозвездами и магнатами, и у него была яхта, и конный завод в Виргинии, и дом на побережье в Монтоке, недалеко отсюда.

Позже, хотя и не намного – ведь через год она умерла, мама рассказала, что и не подумала бы читать статью, если бы не фотография художника на его яхте. Яхта называлась «Арагат» – название горы, такой же святой для армян, как Фудзияма для японцев.

Он, конечно, армянин, подумала мать и оказалась права. В статье рассказывалось, что настоящее имя художника Дан Грегориан, родился он в Москве, в семье объездчика лошадей, а обучался у главного гравера Русского императорского монетного двора.

В Америку он приехал в 1907 году не как беженец, спасающийся от геноцида, а как обычный эмигрант, поменял имя на Дэн Грегори и занялся иллюстрациями журнальных рассказов, а также рисунками для рекламы и для детских книг. Автор статьи утверждал, что Дэн Грегори, вероятно, самый высокооплачиваемый художник в американской истории.

Думаю, что так и обстоит дело с Дэном Грегори, или Грегорианом, как всегда мои родители называли его, – надо только подсчитать его заработки в двадцатые годы, и особенно во времена Великой депрессии, да перевести на сегодняшние обесцененные доллары. Живой или мертвый, Грегори, наверно, по сей день остается чемпионом.

В отличие от отца, мать все понимала про Соединенные Штаты. Она уловила, что самая неотвязная американская болезнь – одиночество, даже люди, занимающие высокое положение,

часто страдают от него, а потому способны проявлять редкую отзывчивость к симпатичным незнакомцам, если те держатся дружелюбно.

И вот она мне говорит, а я ее просто не узнаю, до того лицо у нее хитрое, ну как у колдуньи:

– Ты должен написать этому Грегорию. Только обязательно напиши, что ты тоже армянин. Напиши, что тоже хочешь стать художником, хочешь хоть немного быть похожим на него и считаешь его величайшим художником в мире.

И я написал такое письмо, вернее, около двадцати таких писем ребяческим своим почерком, и наконец мать сочла, что приманка неотразима. Эта каторжная для мальчишки работа сопровождалась едкими шуточками отца.

– Этот человек уже перестал быть армянином, раз он поменял имя, – говорил отец. Или: – Раз он в Москве вырос, значит, русский, а не армянин. – Или: – Ты знаешь, как я расценил бы такое письмо? Ждал бы, что в следующем попросят денег.

А мать по-армянски сказала ему:

– Не видишь, что мы ловим рыбку? Потихе, спугнешь ее своей болтовней.

Кстати, у турецких армян, так мне говорили, рыбной ловлей занимались женщины, а не мужчины.

И какой улов принесла моя наживка!

На крючок попала любовьница Дэна Грегори, бывшая статисточка варьете «Зигфельд» Мерили Кемп!

Мерили стала моей самой первой женщиной – а было мне девятнадцать лет, так-то! Боже мой, какое же я древнее ископаемое с допотопными взглядами, если это посвящение в секс и сейчас, больше чем через пятьдесят лет, представляется мне чудом вроде небоскреба Крайслер, – а теперь пятнадцатилетняя дочка кухарки принимает противозачаточные таблетки!

Мерили Кемп сообщила, что она помощница мистера Грегори и они оба глубоко тронуты моим письмом. Легко представить, писала она, как занят мистер Грегори, и поэтому он просил ее ответить за него. Письмо на четырех страницах было написано почти такими же детскими каракулями, как мое. Тогда ей, дочери неграмотного шахтера из Западной Виргинии, самой-то был всего двадцать один год.

В тридцать семь лет она станет графиней Портомаджоре и у нее появится розовый дворец во Флоренции. А в пятьдесят – крупнейшим в Европе агентом по продаже изделий фирмы «Сони» и самым крупным на этом ветхом континенте коллекционером американской послевоенной живописи.

Она, наверно, ненормальная, решил отец, если написала такое длинное письмо незнакомцу, к тому же мальчишке, да еще черт знает откуда.

Мама решила, что она, наверно, очень одинока, и оказалась права. Грегори держал ее около себя как домашнюю собачку, потому что она была очень красивая, и, кроме того, иногда использовал в качестве модели. Но помощницей в его бизнесе она, конечно, не была. Ее мнение ни по какому вопросу его не интересовало.

И на свои званые вечера никогда он ее не допускал, не брал в поездки, театры, рестораны или в гости к знакомым, никогда не представлял своим знаменитым друзьям.

С 1927 по 1933 год Мерили Кемп написала мне семьдесят восемь писем. Я могу их пересчитать, потому что все их сохранил, они теперь хранятся в футляре, в кожаном переплете ручной работы в моей библиотеке. И переплет и футляр – подарок покойной Эдит на десятую годовщину нашей свадьбы. Миссис Берман раскопала письма, как и все прочее, к чему я эмоционально привязан, – кроме ключей от картофельного амбара.

Все эти письма она прочла, даже не спросив, считаю ли я их сугубо личными. А потом сказала, и в голосе ее впервые прозвучали нотки благоговения:

– Любое письмо этой женщины говорит гораздо больше удивительного о жизни, чем все картины в вашем доме. Целая история униженной и оскорбленной женщины, которая начинает понимать, что она замечательная писательница, – пишет она действительно замечательно. Надеюсь, вы это понимаете.

– Понимаю, – ответил я. Безусловно, это правда: каждое письмо глубже, выразительнее, увереннее, с большим чувством собственного достоинства, чем предыдущее.

– Какое у нее было образование? – спросила миссис Берман.

– Один год средней школы.

Миссис Берман недоверчиво покачала головой.

– Насыщенный, видно, был год! – сказала она.

Я же со своей стороны посылал ей главным образом свои рисунки, надеясь, что Мерили показывает их Дэну Грегори, и сопровождал их короткими записками.

Когда я сообщил о смерти мамы от столбняка, которым мы обязаны консервной фабрике, письма Мерили стали почти материнскими, хотя она всего на девять лет старше меня. И первое такое письмо пришло не из Нью-Йорка, а из Швейцарии, куда, писала Мерили, она отправилась кататься на лыжах.

Правду я узнал только после войны, когда побывал у нее во дворце во Флоренции: Дэн Грегори отправил ее в Швейцарию в клинику избавиться от плода, который она носила.

– Я должна быть благодарна Дэну за это, – сказала она мне во Флоренции. – Именно тогда я и увлеклась иностранными языками.

И рассмеялась.

* * *

Сию минуту миссис Берман сообщила мне, что кухарка сделала не один аборт, как Мерили, а три, и не в Швейцарии, а в Саутхемптоне, прямо в кабинете врача. Фу, какую это наводит на меня тоску, а впрочем, почти все в теперешней жизни наводит на меня тоску.

Я не спросил, когда между абортами кухарка целых девять месяцев вынашивала Селесту. Меня это не интересовало, но миссис Берман тем не менее меня проинформировала:

– Два аборта до Селесты и один после.

– Кухарка сама вам это сказала? – спросил я.

– Нет, Селеста, – ответила она. – Говорит, что мать хочет перевязать трубы.

– Чрезвычайно рад все это узнать, – заметил я, – на всякий пожарный случай.

Настоящее, как разъярившийся фокстерьер, тяпает меня за колени, однако я снова возвращаюсь к прошлому.

Мама умерла, считая, что я стал протеже Дэна Грегори, хотя на самом деле он мне и словечка не написал. До того как заболеть, она все надеялась, что «Грегориан» отправит меня в школу живописи, а потом, когда я стану постарше, этот же «Грегориан» уговорит какой-нибудь журнал взять меня иллюстратором, введет в круг своих богатых друзей, и они мне объяснят, как разбогатеть, вкладывая деньги, заработанные живописью, в биржевые акции. В 1928 году акции вроде бы все поднимались и поднимались вверх, ну совсем как сейчас! Ха-ха!

Через год разразился биржевой крах, но мама об этом уже не узнала, не узнала и о том, что (как выяснилось через пару лет после краха) с Дэном Грегори я совсем не связан, он скорее всего даже не знает о моем существовании, а чрезмерные похвалы в адрес моих работ, которые я посылал в Нью-Йорк на критический разбор, исходят не от самого высокооплачиваемого

в истории Америки художника, а этой, как говаривал по-армянски мой отец, «то ли уборщицы его, то ли кухарки, то ли шлюхи».

7

Вспоминаю: прихожу однажды из школы – было мне лет пятнадцать, – а отец сидит за покрытым клеенкой столом в крохотной кухоньке, и перед ним стопка писем Мерили. Он их перечитывал.

Это нельзя было расценить как вторжение в мою личную жизнь. Письма являлись достоинством семьи – если нас двоих можно было назвать семьей. Вроде векселей, которые мы накапливали, бумаг таких с золотым обрезом: вот созреют они, и я с ними, и начну получать с них доходы. Смогу тогда позаботиться и об отце, который, конечно, нуждался в помощи. Его сбережения приказали долго жить, когда обанкротилась «Сберегательная и ссудная ассоциация округа Лума», которую мы и все в городе называли «Эль Банко Банкроте». Тогда государственной системы страхования вкладов еще не существовало.

Больше того, «Эль Банко Банкроте» держал закладную на небольшой дом, первый этаж которого занимала мастерская отца, а второй – наша квартира. Отец купил дом, взяв ссуду в банке. После краха банка судебные исполнители в покрытие долгов продали все принадлежащее банку имущество, а также наложили вето на выкуп просроченных закладных, которые почти все и были просрочены. Почему просрочены? Да потому, что почти у всех без исключения хватило глупости доверить свои денежные сбережения «Эль Банко Банкроте».

Стало быть, отец, перечитывавший в тот полдень письма Мерили, теперь стал обычным квартиросъемщиком в доме, который раньше ему принадлежал. Что же до мастерской внизу, то она пустовала – не было денег еще и за аренду платить. Да все равно, ведь инструменты отцовские пришлось продать с молотка, чтобы хоть что-то наскрести для нас, глупцов, доверивших свои сбережения «Эль Банко Банкроте».

Какая комедия!

Когда я вошел со своими учебниками, отец поднял глаза от писем и сказал:

– Знаешь, кто эта женщина? Все обещает, а дать ей нечего. – И припомнил того армянина-проходимца, надувшего их с матерью в Каире.

– Она – новый Вартан Мамигонян, – сказал он.

– В каком смысле?

А он и объясняет, да так, словно перед ним не письма, каракулями написанные, а векселя или страховые полисы, в общем, что-то ценное:

– Хитро тут закручено, надо читать внимательно. Первые письма, продолжал он, пестрили фразами «мистер Грегори говорит...», «мистер Грегори полагает...», «мистер Грегори хочет, чтобы ты знал...», но примерно с третьего письма такие фразы полностью исчезают.

– Эта особа – никто, – сказал отец, – сама никогда никем важным не станет, а вот пытается же поймать кого-то на крючок, используя репутацию Грегоряна.

Я не возмутился. Честно говоря, я и сам это заметил. Но, с другой стороны, сумел-таки подавить скверные, ох какие скверные предчувствия.

Я спросил отца, почему он занялся исследованием писем именно сейчас. Оказалось, пока я был в школе, на мое имя прибыли десять книг от Мерили. Отец свалил книги на сушилку раковины, а в раковине полно грязной посуды! Я начал рассматривать их. Это была тогдашняя классика для юношества: «Остров сокровищ», «Робинзон Крузо», «Швейцарские Робинзоны», «Робин Гуд и его веселые друзья», «Путешествия Гулливера», «Рассказы из Шекспира», «Тэнглудские истории» и прочее. То, что до войны читали подростки, что находилось на расстоянии сотен световых лет от нежелательных беременностей, инцестов, рабского труда

за минимальную зарплату, вероломства школьных друзей и всего прочего, о чем пишет Полли Медисон.

Мерили послала мне эти книжки потому, что их очень лихо проиллюстрировал Дэн Грегори. И это были самые прекрасные вещи не только у нас дома, но, не сомневаюсь, и во всем округе Лума.

– Как это трогательно с ее стороны! – воскликнул я. – Только посмотри на них! Неужели не хочется?

– Посмотрел уже, – ответил отец.

– Чудо просто, а?

– Да, – говорит он, – чудо. Только объясни мне, почему мистер Грегори, который такого высокого о тебе мнения, не подписал ни одной из книг и не черкнул хоть несколько строк в поощрение моему одаренному сыну?

Все это было сказано по-армянски. После краха «Эль Банко Банкроте» он говорил дома только по-армянски.

* * *

Тогда мне было в общем-то не важно, от кого исходят советы и поддержка, от Грегори или Мерили. О себе, наверно, говорить нескромно, но что уж там, для мальчишки я стал чертовски хорошим художником. И я настолько в себя уверовал, что мне было безразлично, помогут мне из Нью-Йорка или не помогут, все равно, я добьюсь успеха, а Мерили защищал, главным образом чтобы успокоить отца.

– Если эта Мерили, кем бы она ни была, такого высокого мнения о твоих картинах, – сказал он, – почему бы ей не продать из них кое-что, а тебе прислать денег?

– Она и так на редкость щедрая, – ответил я, и это правда: Мерили не только тратила на меня свое время, но и присылала самые лучшие материалы для работы, какие можно было найти. Об их стоимости я понятия не имел, да и она тоже. Она брала все это без разрешения из кладовой в подвале Дэна Грегори. Прошло несколько лет, я сам увидел кладовую, и столько там всего лежало, что даже при всей плодовитости Грегори такого запаса хватило бы ему на десять жизней. Уверенная, что Грегори не заметит пропажи, она не спрашивала разрешения, потому что до смерти его боялась.

Он часто бил ее, даже ногами.

О действительной ценности этих материалов: краски, которые она присылала, уж конечно, не «Сатин-Дура-Люкс». Это акварель Хорадама и масло Муссини из Германии. Кисти из «Виндзора и Ньютона» в Англии. Пастель, цветные карандаши и тушь от «Лефебр-Фуане» в Париже. Холст от Классенов в Бельгии. Ни один художник к западу от Скалистых гор не имел таких бесценных поставок! Вот почему Дэн Грегори – единственный известный мне иллюстратор, который мог рассчитывать, что его работы займут достойное место среди сокровищ мирового искусства, ведь материалы, которые он использовал, действительно пережили улыбку Моны Лизы, – не то что эта хвастунья «Сатин-Дура-Люкс». Другие иллюстраторы рады были, если их работа уцелела, пока ее везли в типографию. Они вечно говорили, что это, мол, просто халтура ради денег, что иллюстрации – искусство для тех, кто не имеет понятия об искусстве; а вот Дэн Грегори так не считал.

– Она тебя просто использует, – сказал отец.

– Для чего? – спросил я.

– Чтобы чувствовать себя важной персоной.

Вдова Берман согласна, что Мерили просто использовала меня, но с другой целью.

– Вы были для нее читательской аудиторией, – сказала она. – Писатель пойдет на все ради читательской аудитории.

– Один – это аудитория? – спросил я.

– Ей было достаточно, – сказала она. – Любому достаточно. Только посмотрите, как улучшался ее почерк, увеличивался словарь. Посмотрите, какие находила она темы, осознав, что вы ловите каждое ее слово. Этому подонку Грегори она, разумеется, не писала. Писать домой родным тоже не имело смысла. Они даже читать не умели! Неужели вы верили, что она описывает все, что подметила в Нью-Йорке, на случай, если вы захотите это изобразить?

– Да, думаю, верил.

Мерили описывала длинные очереди за хлебом, в которые выстраивались потерявшие во время Депрессии работу, описывала людей в хороших костюмах, которые явно когда-то были при деньгах, а теперь продавали яблоки на улице, и безногого инвалида Первой мировой войны, а может, он только выдавал себя за инвалида войны, – катит на доске с роликами, вроде скейтинга, карандаши продает на Центральном вокзале, и людей из высшего общества, которые с удовольствием распивают в подпольных барах с гангстерами, – в общем, такие картинки.

– Вот секрет, как писать с удовольствием и достичь высокого уровня, – изрекла миссис Берман. – Не пишите для целого мира, не пишите для десяти человек или для двух. Пишите только для одного.

– А вы для кого пишете? – спросил я.

И она ответила:

– Наверно, это прозвучит странно, ведь вы думаете, что для сверстника моих читателей, но это не так. Наверное, в том-то и секрет успеха моих книжек. Поэтому они действуют так сильно на юных читателей, вызывают у них доверие, а я не произвожу впечатления глуповатого подростка, болтающего с другими такими же. Я не пишу ничего, что не находил бы достойным внимания и правдивым Эйб Берман.

Эйб Берман – это, ясное дело, ее муж, нейрохирург, умерший от инсульта семь месяцев назад.

Она опять попросила ключи от амбара. Если еще хоть словом про амбар обмолвитесь, предупредил я, то всем расскажу, что вы – Полли Медисон, приглашу местных газетчиков, пусть интервьюируют, и всякое такое. Если я и правда так сделаю, это будет не только катастрофа для Пола Шлезингера. К нам может заявиться толпа протестантов-ортодоксов, способных даже на самосуд.

На днях вечером я случайно видел по телевизору проповедь евангелистского священника, и тот сказал, что Сатана со страшной силой набросился на американскую семью, вонзил в нее четыре зуба, это: коммунизм, наркотики, рок-н-ролл и романы сатанинской сестры – Полли Медисон.

Возвращаясь к моей переписке с Мерили Кемп: тон моих писем к ней охладел, когда отец назвал ее новым Варганом Мамигоняном. На нее я больше ни в чем не рассчитывал. Наверно, просто взрослеть начал, а это значит, что больше не нуждался в самозванной матери. Возмужал я, мама мне вообще больше не требуется – по крайней мере так я думал.

И без всякой ее или чьей-либо помощи, еще почти мальчишкой, я начал зарабатывать как художник, и где? Прямо тут, в обанкротившемся Сан-Игнасио. Мне нужно было где-то подрабатывать после школы, и я пришел в местную газету «Трубный глас Лумы» и сказал, что хорошо рисую. Редактор спросил, могу ли я нарисовать итальянского диктатора Бенито Муссолини (потом оказалось – героя из героев Дэна Грегори), и я нарисовал его за две-три минуты, даже не взглянув на фотографию.

Потом редактор попросил нарисовать прелестного ангела в женском облике, и я нарисовал.

А потом велел нарисовать, как Муссолини вливает в рот ангелу кварту жидкости. На бутылки велел написать – «касторовое масло», а на ангеле – «мир на планете». Любимым наказанием Муссолини было заставить жертву выпить кварту касторки. Вроде бы забавный способ проучить, но получалось вовсе не смешно. Жертва умирала от рвоты и кровавого поноса. Выжившие же оставались инвалидами с разодранными в клочья внутренностями.

Вот так, еще в нежном возрасте, я начал зарабатывать политической карикатурой. Редактор говорил, что нарисовать, и я делал карикатуру за неделю.

К моему огромному удивлению, в отце вдруг тоже расцвел талант художника. Когда дома гадали, откуда у меня способности к рисованию, одно казалось очевидным – не от отца и не от родственников по его линии. Когда он еще чинил сапоги, в мастерской вокруг него было полно обрезков, но он не сделал ни одной вещицы с воображением, ни красивого ремня для меня, ни кошелька для мамы. Чинил обувь на совесть, вот и все.

И вдруг, будто в трансе, он с помощью самых простых инструментов, целиком вручную, стал шить на редкость красивые ковбойские сапоги и продавал их, бродя от двери к двери. Сапоги получались не просто добротные и удобные, они сверкали как драгоценности на мужских ногах: были там всякие золотые и серебряные звезды, птицы, цветы, дикие кони – он все это вырезал из консервных банок и бутылочных крышечек.

Но странно: этот поворот в его жизни не так уж меня и обрадовал, не думайте. У меня прямо мурашки по коже пробегали, когда я заглядывал ему в глаза, где не было больше ничего родного – полное отчуждение.

Через много лет я видел, как то же произошло с Терри Китченом. Он был моим лучшим другом. И вдруг начал писать картины, да так, что многие сейчас находят его величайшим из абстрактных экспрессионистов, талантливее Поллока и Ротко.

Это, разумеется, прекрасно, но когда я глядел в глаза своего лучшего друга, там не было больше ничего родного – полное отчуждение.

О, Боже мой!

Словом, возвращаясь к Рождеству 1932 года: последние письма Мерили валялись где-то, даже не прочитанные. Надоело мне быть ее аудиторией.

И вдруг мне пришла телеграмма.

Прежде чем вскрыть ее, отец заметил, что это первая телеграмма, полученная нашей семьей.

Вот ее содержание:

ПРИГЛАШАЮ СТАТЬ МОИМ УЧЕНИКОМ ОПЛАЧУ ПРОЕЗД КОМНАТУ ПИТАНИЕ
СКРОМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УРОКИ ЖИВОПИСИ
ДЭН ГРЕГОРИ

8

Первый, кому я рассказал о потрясающем предложении, был старик издатель газеты, для которого я рисовал карикатуры, звали его Арнольд Коутс, и он мне сказал:

– Ты настоящий художник и должен удирать отсюда, а то высохнешь, как изюминка. Не беспокойся об отце. Прости, но он вполне благополучный псих, который ни в ком не нуждается.

– Нью-Йорк должен стать для тебя только перевалочным пунктом, – продолжал он. – Настоящие художники были, есть и будут в Европе.

Тут он оказался не прав.

– До сих пор никогда не молился, но сегодня вечером помолюсь, чтобы ты ни в коем случае не попал в Европу солдатом. Мы не должны снова дать себя одурачить и превратить в пушечное мясо, на которое такой спрос. Там в любой момент может начаться война. Посмотри, какие у них огромные армии, и это – в разгар Великой депрессии!

– Если, – говорит, – города еще сохранятся, когда попадешь в Европу, и будешь сидеть в кафе, попивая кофе, вино, пиво и обсуждая живопись, музыку, литературу, не забывай, что окружающие тебя европейцы, которых ты считаешь гораздо более цивилизованными, чем американцы, думают только об одном: когда можно будет снова легально убивать друг друга и разрушать все вокруг.

– Будь по-моему, – говорит, – назвал бы в американских учебниках по географии европейские страны их истинными названиями: «Империя сифилиса», «Республика самоубийств» и «Королевство бреда», а рядом – еще замечательнее.

– «Паранойя».

– Ну вот! – воскликнул он. – Предвкушение Европы тебе испортил, а ты еще ее и не видел. Может, и предвкушение искусства тоже, но, надеюсь, нет. Думаю, художники не виноваты в том, что их прекрасные и чаще всего невинные произведения по каким-то причинам делают европейцев только еще несчастнее и кровожаднее.

В те времена американцы из патриотов обычно так и рассуждали. Трудно представить, какое отвращение прежде вызывала у нас война. То и дело мы хвастались, какие маленькие у нас армия и флот и до чего мало в Вашингтоне влияние генералов и адмиралов. Фабрикантов оружия называли «торговцами смертью».

Представляете себе?

Теперь, конечно, наша чуть ли не единственная процветающая индустрия – это торговля смертью, в которую вкладывают капитал наши внуки, и поэтому главное, что твердят искусство, кино, телевидение, что бубнят политики и пишут газеты, сводится вот к чему: война, безусловно, ад, но юноша, чтобы стать мужчиной, должен немножечко пострелять, и по возможности, хотя это и не обязательно, – на поле боя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.